



ПЕПЕЛ НА ГУБАХ

РОМАН КУБОВ



Роман Кубов

Пепел на губах

«Автор»

2026

Кубов Р.

Пепел на губах / Р. Кубов — «Автор», 2026

Аглая держит лавку на Ржавой протоке и одиннадцать лет скрывает, что она тлеющая: её дар не вытягивает тепло из людей, а отдаёт своё, и за каждое спасение она платит памятью. Имена и долги - в тетради: без неё она не отличит заказчика от должника. От Тишего Двора её спасает железный браслет: железо на голой коже глушит дар. Осенью на Красном ряду вымораживают троих, и в город приходит ловчий Артемий Коршун: он носит в кармане пепел и чует тлеющих на расстоянии. След приводит его в лавку: Аглая сняла браслет, чтобы поднять вымороженную девочку. Теперь выбирать ей: печать Двора или сделка с человеком, у которого на каждого такого есть срок. У сделки цена, которую нельзя отдать частями: розыск ведёт туда, где придётся платить памятью уже не за чужих, а за себя. И ей решать, можно ли доверить ему то, что у неё осталось, если он однажды заплатил чужой свободой за порядок.

© Кубов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Тот, кто не греется	8
Глава 2. Чистый пепел	12
Глава 3. Условие, которое ей невыгодно	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Роман Кубов

Пепел на губах

Пролог

Коршун не любил пожары за то, что они пахли выпечкой.

Гонcharная горела второй час. Ветер шёл с реки и гнал дым вдоль улицы, так что казалось, будто печёт во всех домах сразу: булочник выставил противни, дети сидели на завалинках и ждали, пока остынет. Запах был сытный, домашний, и от него хотелось есть. Коршун шёл по колену в этом запахе и знал, что к концу смены его вывернет.

Ему было двадцать, и он служил в Дворе третий месяц. Настоящей работы ему не давали: носил воду, держал лошадей, считал вёдра.

— Стой, — сказала Клавдия.

Она шла впереди, узкая в плечах, в кожаной куртке, которую не снимала даже в жару. Напарница. Старше его на шесть лет. За три месяца он понял про неё два: она не повторяет приказ дважды и никогда не берёт в рот ничего горячего.

Она остановилась у второго дома от угла. Дом горел ровно, без треска — так горят, когда внутри уже всё выгорело и осталась только оболочка.

— Там кто-то есть, — сказала Клавдия.

— Там никто не мог остаться, — сказал Коршун. — С начала часа как вынесли.

— Там кто-то есть.

Он не стал спорить. За три месяца он выучил: если Клавдия говорит «есть», спорить надо быстро, потому что она уже идёт.

Внутри было бело. Не красное, как он ожидал, а белое — от жара, от пыли, от того, что глаза не успевали привыкнуть. Воздух обжигал горло на вдохе. Коршун зажал рот рукавом и пошёл за ней, пригибаясь, считая шаги: восемь, девять, десять. На десятом Клавдия упала на колени.

Девочка лежала под столом. Лет восьми, в ночной рубашке, лицом в пол. Рубашка на спине тлела — не горела, именно тлела, серой полосой вдоль шва, и от неё шёл не дым, а сухой серый налёт, который оседал на коже белым. Коршун понял, что это такое, не сразу, секунд через пять. Потом понял и перестал дышать.

— Не трогай, — сказал он.

Клавдия его не слышала. Она положила ладони девочке на спину — прямо на тлеющую полосу — и Коршун увидел, как полоса гаснет. Не от ладоней. От неё самой: от того, что она вбирала жар в себя, как воду в тряпку.

У него в кармане лежала щепоть пепла, выданная Двором на первый месяц. Пепел нагрелся. Коршун и не знал, что он так умеет, — просто почувствовал, как нагрелась ладонь, и выругался сквозь рукав.

Клавдия не шевелилась. Девочка под ней сделала вдох — короткий, сухой, как будто её вытащили из воды за волосы.

— Что ты делаешь, — сказал Коршун.

— То, что должна.

— Ты ей передаёшь.

— Да.

Он стоял над ними и считал: балка над входом продержится минуты две, может, три. Он мог вытащить обеих. Он мог вытащить только Клавдию. Третьего варианта не было, и это было самое противное — что варианта было два, а не десять.

— Она не выживет, — сказала Клавдия, не поднимая головы. — Сейчас выживет. Я отдам столько, сколько нужно.

— Ты не отдашь. Ты привьёшь.

Она наконец посмотрела на него. Лицо у неё было чужое — не от жара, а оттого, что она уже приняла решение, и решение было дороже её самой.

— Ты не скажешь, — сказала она. Не спросила. Сказала.

— Не скажу, — ответил Коршун.

Он сказал это потому, что балка трещала, и потому, что она была права: без этого девочка не выживет. И потому, что ему было двадцать, а она была Клавдия, и он за три месяца привык ей верить.

Он вынес их обеих на тринадцатом шаге. Балка упала на двадцатом, когда он уже был в сениях, и обожгла ему левую ногу — не сильно, хватило на хромоту, которую он потом тринадцать лет не считал своей виной.

Во дворе Клавдия села в снег. Девочка дышала. На спине у неё, где тлела рубашка, осталась полоса чистой кожи — и больше ничего: ни ожога, ни следа.

Коршун посмотрел на свои руки. На ладонях лежал серый налёт. Он стёр его, и налёт не стёрся, а втёрся — в кожу, в линии, под ногти. С тех пор он носил его в кармане горстью, как другие носят табак.

Клавдия сказала:

— Запомни её лицо. Потом скажешь, что не видел.

— Я запомню.

— И запомни, что я сделала это не для тебя.

— Я и не думал, — сказал Коршун.

Она усмехнулась, и усмешка вышла старая, на двадцать лет старше лица.

— Сколько ты ей отдала? — спросил Коршун.

— Достаточно.

— Это не ответ.

Она вытянула руки ладонями вверх. На коже, там, где она касалась тлеющей рубахи, не было ничего: ни волдыря, ни красноты.

— Считай, что я заплатила за двоих, — сказала Клавдия. — Ты не представляешь, как это считается.

— Научи.

— Не дай бог.

Он сел рядом, в снег. Нога горела, но терпеть было можно, и он терпел, потому что встать значило признать, что он сейчас уйдёт.

— Кто она?

— Не знаю. С Гончарной. Дом второй от угла, там жили гончары, фамилию не помню. Я её вытащила, потому что она ещё дышала, а не потому, что она мне нужна.

— Ты ей дала то, что у тебя есть.

— Я ей дала то, что она бы не вынесла, если бы я не дала. Разница есть.

— Чем она заплатит?

Клавдия помолчала. Потом сказала то, что он помнил потом тринадцать лет, каждую ночь перед сном:

— Памятью. Все мы платим памятью. Я плачу чужой, потому что беру. Она будет платить своей, потому что отдаёт. Ты не представляешь, какая это разница, и не дай тебе бог её узнать.

— И что с ней будет?

— А ты как думаешь?

Он посмотрел на девочку. Снег под ней лежал белый, плотный, нигде не просевший, хотя она сидела на нём уже минут десять и была в одной рубашке.

— Её найдут, — сказал Коршун.

— Если найдут, она будет носить железо, как все, кто не хочет, чтобы нашли. А если не найдут, она вырастет и сама решит, что с этим делать.

— И ты спокойна?

— Я спокойна, потому что выбора у меня не было. Ты бы на моём месте сделал то же самое.

Он подумал. Снег под девочкой действительно не таял, и это было неправильно, и он это видел, и не знал, что с этим делать.

— Не знаю, — сказал он.

— Вот и я не знаю, — сказала Клавдия. — Поэтому и молчим оба.

Приехал Ребров. Он тогда был не старшим над Двором, а просто старшим — и приехал не на пожар, а на пепелище, потому что пепелище интересовало его больше. Он прошёл по двору, посмотрел на девочку, на Клавдию, на Коршуна, на серый налёт у того под ногтями.

— Кто тянул? — спросил он.

— Никто, — сказала Клавдия.

— Пепел чистый, — сказал Ребров. — Чистый пепел не бывает ничей.

— Сегодня бывает, — ответила она.

Ребров посмотрел на неё долго. Коршун помнил этот взгляд потом всю жизнь, потому что в нём не было злобы. В нём была мысль, и мысль была простая, и тринадцать лет спустя Коршун понял, что именно тогда, в этом дворе, на снегу, всё и началось.

— Значит, — сказал Ребров, — нам нужно научиться различать. А пока не научились — держать всех.

— Всех? — спросил Коршун.

— Всех, кого найдём, — сказал Ребров. — Ты бы предпочёл искать их после того, как они вытянут из кого-то всё тепло?

Коршун посмотрел на девочку. Она спала, сидя в снегу, и снег под ней не таял.

— Нет, — сказал он.

— Вот и я нет, — сказал Ребров.

Через тринадцать лет Коршун стоял на той же улице, растирал в кармане щепоть пепла и думал, что правда была на их стороне тогда и осталась правдой сейчас. Только вот девочку, которая спала в снегу и не растапливала его под собой, он так и не нашёл. Не искал. Двор искал — и не нашёл, потому что она носила на запястье железо, а железо глушит всё, кроме воображения ловчего, который тринадцать лет не может забыть запах выпечки на пожаре.

Глава 1. Тот, кто не греется

Аглая знала, что Марфа врёт, по тому, как она переставляла пузырьки.

Когда Марфа говорила правду, пузырьки стояли ровно, по три в ряд, и она при этом смотрела покупателю в переносицу. Когда врала — двигала их, и ряд расползался. Сейчас ряд расползался на глазах, а покупательница, женщина в сером платке, стояла и ждала, и Аглая ждала тоже.

— Тринадцать, — сказала Марфа. — Последняя цена. Я себе в убыток.

— Ты мне в прошлый раз говорила одиннадцать.

— В прошлый раз трава была хуже.

— Трава одна и та же, — сказала женщина. — Я её видела.

— Двенадцать, — сказала Марфа. — И ты мне ещё должна за зольник.

Ржавая протока пахла железом, тиной и чаем: где вода подходила к сваям, она бралась ржавой плёнкой, и плёнка пахла заваркой.

— Ты чего без платка? — спросила Марфа, когда женщина ушла.

— Жарко.

— На дворе лёд.

— Мне жарко, — сказала Аглая и улыбнулась, не поднимая головы.

Марфа фыркнула, но придирается не стала: считала плохой приметой смеяться над человеком, который умеет улыбаться в такой холод.

Аглая дорастёрла кору, ссыпала в бумажный пакет и подошла к прилавку. Левая рука лежала в кармане передника. Она держала её там не потому, что прятала, — ну, не только поэтому, — а потому, что нагретое железо чувствуешь сильнее, и тогда уже не понимаешь, где ты, а где твоя рука.

Подошёл мальчик с Красного ряда. Аглая его знала: бегал у мясных рядов, носил корзины, вечно в чужих сапогах. Сейчас он был без корзин и без сапог — в чём был, в том и прибежал, и лицо у него было такое, что Аглая перестала улыбаться.

— Тётя Аглая, — сказал он. — Там девку принесли.

— Какую девку.

— Ньюку. Левки Гущина младшую. Она с утра лежала, а теперь не греется.

Аглая положила ступку. Марфа уже шла к ней, но Аглая её опередила: взяла с полки короб с травами, кинула туда две баночки, не глядя, и пошла к двери.

— Я с тобой, — сказала Марфа.

— Нет.

— Аглая.

— Марфа, — сказала Аглая, — ты останешься. Лавку не закроют, если я уйду на час. А если закроют, ты мне потом скажешь, что я тебя не послушалась.

— Я тебе и так скажу.

— Вот.

Она вышла. Мальчик бежал впереди, один раз упал и вскочил, не разбирая. Аглая шла быстро, но не бежала: бегом она бы пришла красной и потной, а потная она никого не лечила — люди в этом видели что-то неприличное, а спорить с ними было некогда.

Красный ряд гудел, но не так, как обычно. Торговля шла, кричали про клюкву и рыбу, но кричали в полголоса, и Аглая поняла почему, когда дошла: у мясной лавки на лавке лежала девочка лет десяти, накрытая двумя тулупами, а вокруг стояли пятеро и молчали так, как молчат, когда уже всё решили и осталось только дожидаться.

Аглая принялась. От девочки пахло холодом. Не холодом — отсутствием тепла: как от подвала, который простоял зиму без печи. Она взяла Нюрку за запястье, и рука была гладкая, сухая и никакая.

— Сколько она так? — спросила Аглая.

— С утра, — сказал кто-то. — Сначала просто спала. Потом перестала дышать тепло.

— Она дышит.

— Дышит. Только не греется.

— Бабку звали? — спросила Аглая.

— Звали, — сказал мужик в фартуке, мясник, Аглая его знала по рукам: вечно в жире до локтя. — Бабка посмотрела и ушла.

— Куда ушла?

— Домой. Сказала: это не ко мне.

— А ко мне? — спросила Аглая.

Мясник помолчал.

— А ты чего, лечишь?

— Лечу.

— Травками?

— Травками. — Аглая выдержала паузу и добавила: — И руками.

— Хочешь сказать, ты её вытянешь?

— Хочу сказать, что она синяя, — ответила Аглая. — А через час будет ещё синее, если вы её тут продержите. Выбирайте.

Мясник глянул на девочку, на Аглаю, опять на девочку.

— В Двор надо, — сказал кто-то из полукруга. — Это теперь Дворово дело.

— Двору до утра ехать, — сказала Аглая. — Она до утра не дожждётся.

Никто не ответил. Мясник отошёл на шаг, потом ещё на шаг, и это было согласием.

Аглая откинула тулуп. Пальцы на руках у Нюрки синели, но не пятнами, как бывает от мороза, а ровно, от кончиков и до запястья, как будто их вымазали синькой. Она приложила ладонь ко лбу — лоб был комнатный. Ни жара, ни лихорадки. Просто человека вынули из него самого и оставили оболочку.

— Выморозка, — сказала Аглая.

— Чего?

Она не ответила. Выморозку лечили плохо: можно было греть, можно было растирать, можно было ставить к печи, и всё это было бесполезно, потому что дело было не в холоде. Дело было в том, что человека вытянули и не вернули. Вернуть мог только тот, кто умеет отдавать. Таких Аглая знала одного, и тот стоял сейчас на Красном ряду, держал чужую девочку за запястье и думал, что из этого выйдет.

— Все отойдите, — сказала она.

— Чего?

— Отошли, — повторила Аглая, не повысив голоса. — И тулупы заберите. Ей жарко будет.

Ей не сразу, но дали место. Пятеро отошли на два шага и встали полукругом. Мальчик остался — он не уходил, потому что был послан и потому что боялся.

Аглая положила короб на лавку, вынула баночку, поставила рядом — для вида, чтобы было чем объяснить, если спросят. Потом вынула левую руку из кармана и расстегнула браслет.

Железо было узкое, тёмное, некрасивое: она купила его одиннадцать лет назад у лудильщика, который спросил, зачем ей обруч на запястье, и она ответила, что от ломоты. Он сказал, что от ломоты носят медь. Она сказала, что у неё ломота особенная.

Браслет щёлкнул о лавку.

Аглая положила ладони на Нюркины — обе, крепко, как берут, когда хотят вернуть. И отдала.

Это называлось у неё «пустить». Сначала шло своё: тепло из живота, из спины, из-под ключиц, тонко и быстро, как вода из прорванного мешка. Потом — больно. Потом — всегда больно, она за одиннадцать лет ни разу не привыкла и знала, что не привыкнет, потому что это была не та боль, к которой привыкают: её тело помнило, сколько у него было, и не хотело отдавать.

Девочка сделала вдох. Пальцы порозовели — не сразу, от кончиков к ладони, медленно, как краска по мокрой тряпке.

Аглая держала ещё немного, сколько было нужно, и отпустила раньше, чем хотела: отпустила потому, что рядом стояли пятеро и один из них мог оказаться чужим.

Когда она убрала руки, у неё дрожали колени и было пусто в голове. Пусто было всегда, на одно и то же место: как будто из шкафа вынули коробку, а какую — не помнишь.

Она наклонилась над коробом и стала искать, что именно забыла. Сначала не нашла. Потом нашла: не помнила, как звали первую хозяйку, у которой она жила до Марфы. Лицо помнила — круглое, с родинкой у виска. Имя — нет. Имени больше не было, и она поняла, что заплатила им, и что цена выросла: в прошлый раз она отдала за старика с Гончарной всего-навсего запах его двора.

Она сидела на корточках и не вставала, пока не перестало кружиться.

— Ты чего? — спросил мальчик.

— Устала, — сказала Аглая. — Ты иди. Скажи Левке, чтобы её домой отнёс и чаю дал. С чаем — не с водкой, ты так и скажи.

— А ей чего было?

— Ничего. Перележала.

— Иди, — сказала Аглая.

Он побежал.

Она подобрала браслет — железо стыло быстро — и застегнула. Стало легче и хуже одновременно: тело перестало быть её насквозь, но рука сделалась чужой, как перчатка, набитая ватой.

И тут она увидела пепел.

На Нюркиной ладони, в складке между большим и указательным, лежал серый налёт. Аглая наклонилась. Налёт был липкий — не сухой, как бывает от угля, а липкий, и пах горелой пылью. Свой. Она знала свой след так, как знала свою походку: одиннадцать лет смотреть, что остаётся после тебя.

Она стёрла его подолом, стёрла дочиста, потом ещё раз, хотя кожа под налётом была чистая.

Обернулась. Пятеро у мясной лавки уже расходились, никто не смотрел. Мальчика не было. Нюрка шевельнулась под тулупом, и Аглая подумала, что сейчас её понесут домой, и дома она будет помнить, что ей было холодно, а потом тепло, и кого-нибудь спросит, кто это сделал.

Она пошла обратно. Шла быстро, и на этот раз краснела, и радовалась, что краснеет: красная она была обычной.

Марфа встретила её на пороге. Пузырьки на прилавке стояли в три ряда — значит, она не врала, и значит, новость была настоящая.

— Ну? — спросила Аглая.

— Живая?

— Живая.

— Слава тебе, — сказала Марфа и перекрестилась, и Аглая подумала, что Марфа верит так, как дышит: быстро и не думая.

— У нас гость, — сказала Марфа.

— Какой гость.

— С Двора, — сказала Марфа. — Приехал утром, прошёл по рядам, всех расспрашивал. Про девку спрашивал. Про трёх, которые до неё.

Аглая поставила короб на прилавок.

— Троих? — спросила она.

— Троих, — подтвердила Марфа. — Двое на том конце, один на Гончарной. Все трое — не греются. Ты бы видела, что на рядах делается: никто не спит, лавки на запор, а бабы детей в избы не пускают.

Аглая смотрела на неё и не видела. Мысль шла медленно, как вода подо льдом: трое до Нюрки, четверо всего, и все четверо из тех, кто не греется, и она, дура, одна на весь город умеет это вылечить, и именно поэтому она сейчас стоит в лавке и держит левую руку в кармане.

— И как его зовут? — спросила она.

— Кого?

— Гостя.

— Коршун, — сказала Марфа. — Артемий Коршун. Старший ловчий. Он один пришёл, без людей, представляешь? Один. И спрашивает тихо, и все ему отвечают. Ты бы видела Левку: тот в жизни тише мыши, а этот его спросил — он ему всё выложил.

Аглая подняла левую руку и посмотрела на запястье. Браслет сидел ровно, прикрытый рукавом, как сидел одиннадцать лет.

— Он здесь? — спросила она.

— В Дворе, — сказала Марфа. — С Ребровым.

— А ко мне зачем?

Марфа не ответила. Аглая подняла голову. Марфа стояла и смотрела на неё так, как смотрела одиннадцать лет назад, когда Аглая пришла к ней с улицы и попросилась, — и Аглая поняла, что сейчас Марфа скажет то, что боялась сказать всё утро.

— Он уже был здесь, — сказала Марфа. — Час назад, пока ты бегала. Спрашивал, кто у нас лечит. Я сказала — никто.

— И он поверил?

— Он не поверил. Он пол трогал.

— Что?

— Пол, — повторила Марфа. — Присел у порога, где ты сидишь, и руку приложил к половице. Я думала, он шутит. Он не шутил. И сказал: передай, что зайдёт вечером.

Аглая посмотрела на порог. Пол там был вытерт до желтизны, потому что она сидела на этом месте одиннадцать лет.

— Аглая, — сказала Марфа, — ты мне скажи: ты эту девку вылечила?

— Да.

— Чем?

Аглая помолчала. За окном кто-то тащил сани, и пол под санями гудел, и этот гул был единственным, что она слышала.

— Руками, — сказала она.

Марфа вздохнула, подошла к прилавку, сгребла пузырьки в кучу и пошла их переставлять. Ряд расползался у неё под руками, и она его всё равно ровняла.

Глава 2. Чистый пепел

Коршун узнал про четвёртую, когда уже садилось солнце. Он шёл от Гончарной, где осмотрел третьего, и думал о том, что все трое легли в одну дугу: от мясных рядов к гончарной слободе. Третий лежал в конце, у церкви, лет пятидесяти, из тех, кто спит под лавками и никому не нужен. Коршун осмотрел его при фонаре: пальцы синие ровно, от кончиков, лицо спокойное, одежда цела. Ни синяков, ни ссадин, ни следа борьбы. Человека просто вынули и не вернули.

— Сколько он так? — спросил Коршун.

— Третий день. Я думал, спит. А он вчера уже не дышал тепло.

— Кто кормил?

— Сам. Ходил до вторника, а в среду лёг.

Коршун присел. Пепел на ладони третьего лежал в складке у большого пальца, тонкой полосой, и был серый, ровный, сухой. Коршун взял щепоть своего, из кармана, приложил рядом на бумагу, которую постелил. Свой пепел был коричневатый, комковатый — его собирали тринадцать лет, со старых пожарищ, и он успел набрать в себя всякого. Тот, что с руки мертвеца, был чистый.

Он сидел на корточках и смотрел на две щепоти рядом.

Чистый пепел — это опыт. Первый раз человек тянет неаккуратно: он берёт больше, чем может унести, и пепел у него выходит мутный, с примесью, как вода из грязного колодца. Чистый пепел бывает у того, кто тянет десятый или двадцатый раз и знает, сколько именно взять, чтобы не перебрать.

Коршун тринадцать лет видел всякое, но такого не видел: в городе, где тлеющих ловили и ставили на учёт, кто-то тянул десятый раз подряд и не оставлял мутного следа.

— Когда его нашли? — спросил он.

— Да утром.

— Кто нашёл?

— Да я же. Приставу сказал. Тот велел не трогать.

— И ты не тронул.

— А чего его трогать.

Коршун сложил бумагу, сунул в карман и встал. Нога болела — к вечеру всегда болела.

— А четвёртую где? — спросил он.

Сторож моргнул.

— Какую четвёртую?

— Девку с Красного ряда. Десяти лет. Левки Гущина младшая.

— Так её ж вытянули, — сказал сторож. — Я слышал, вытянули.

Коршун остановился.

— Кто вытянул.

— Не знаю. Бабы говорили, вытянули. У мясных, говорят, на лавке лежала ни живая ни мёртвая, а потом встала и пошла.

— Кто вытянул, — повторил Коршун.

— Говорят, травница с протоки.

Коршун пошёл — не быстрее обычного, просто пошёл, и через двадцать шагов сторож отстал.

Красный ряд к вечеру пустел. Мясник ещё был, мыл руки в лохани, и вода в лохани была розовая.

— Ты её видел? — спросил Коршун.

— Кого? — Мясник не обернулся.

— Девку. Ньюку.

— Видел.

— Что было?

— А ты кто?

Коршун показал ему пепел на ладони — свою щепоть, коричневую. Мясник посмотрел и перестал мыть руки.

— Двор, — сказал он.

— Двор.

— Она лежала, — сказал мясник. — Синяя вся. Аглая пришла.

— Кто?

— Травница. Аглая. С протоки, у Марфы живёт. Она пришла, руки положила — и девка порозовела. Я сам видел.

— Обе руки?

— Обе. За запястья. Я ещё подумал: чего она её так держит.

— И долго держала?

— Ну... Мясник посмотрел в лохань, потом в сторону. — Не знаю. Я отворачивался. У меня мясо.

— Сколько она держала? — спросил Коршун.

— Долго. Пока девка не задышала.

Коршун достал бумагу, посмотрел на две щепоти, сложил и спросил уже спокойнее:

— Когда она ушла, ты что делал?

— Работал.

— А лавку?

— Чего лавку?

— На лавке, где она лежала, осталось что-нибудь?

Мясник подумал.

— Осталось, — сказал он. — Я потом тряпкой тёр. Пепел был.

Коршун перестал дышать. Это длилось секунду, и мясник ничего не заметил: за тринадцать лет Коршун научился не дышать незаметно.

— Где пепел?

— Стёр я.

— Чем стёр?

— Тряпкой.

— Тряпка где?

— В лохани.

Коршун подошёл к лохани, засучил рукав и достал тряпку. Вода в лохани была холодная, розовая, с жиром. Тряпка пахла мясом. Он выжал её, развернул — и на сером, в разводах, увидел то, что искал: тонкую полосу налёта, не сухую, а липкую, как будто кто-то провёл по ткани пальцем, вымазанным в мёд с золой.

Он поднёс тряпку к лицу. Полынь. Горелая полынь, как на пожаре, только слабее и с чем-то живым, кислым, от человека. Липкий пепел бывает у одного: у того, кто отдаёт.

Коршун стоял над лоханью с чужой тряпкой в руках и понимал: всё, во что он верил тринадцать лет, только что встало на другое место. Тянущий — есть. Он тянет чисто, опытной рукой, и он где-то рядом. Но рядом с ним ходит тот, кто отдаёт: кто возвращает украденное тепло, кто чинит за тянущим, кто оставляет липкий след и пахнет полынью.

Отдающие — редкость. За тринадцать лет Двор поставил на учёт сто сорок тлеющих, и отдающих среди них было двое. Одна из них сидела сейчас в Пепельном Выселке и не помнила, как её зовут.

— Она тебе сказала, как это называется? — спросил Коршун.

— Кто?

— Травница.

— Нет.

— А ты спросил?

— А я не спросил, — сказал мясник. — У меня мясо.

Коршун положил тряпку на край лохани, вытер руки о штаны и пошёл к выходу с рядов, считая шаги. До восемнадцатого он просто шёл. На девятнадцатом достал из кармана щепоть и растёр её между пальцами, как делал всегда, когда думал.

Пепел был тёплый.

Он остановился. Пепел в кармане нагревался только рядом с тлением — он знал это тринадцать лет и проверил сто раз. Но нагревался он от тлеющего, а не от следа: след остывал за час, за два. Здесь следу было часов шесть, не больше, если девку вытянули днём. И всё-таки пепел грелся.

Значит, тлеющий ходил здесь недавно. Или ходит до сих пор.

Ряды пусты. В конце горел один фонарь — у мясной лавки, там, где лежала девочка. Коршун пошёл на свет.

У лавки никого не было. Он положил ладонь на лавку, туда, где лежала голова, потом на доску рядом — туда, где, по словам мясника, сидела травница. Доска была холодная, но пепел в ладони держал тепло, и Коршун понял, что ошибся: грелся не след, грелась она сама, всё ещё, через шесть часов, — или он просто не хотел признать, что ошибается, потому что тринадцать лет ждал этой щепоти в кармане.

— Ты чего?

Он обернулся. Мясник стоял в дверях, вытирая руки о передник, и смотрел на него.

— У тебя на рядах кто ночует? — спросил Коршун.

— Никто. Лавки на запоре.

— А кто ключи держит?

— Я один.

— И никто не заходил к девке после того, как её унесли?

— Никто.

— А до?

Мясник помолчал.

— До — Левка был, — сказал он. — Отец её. Да он с утра там крутился, пока её не отнесли.

— Где он теперь?

— Да пьяный небось. У Гущина с этим строго: как горе, так он в шинок.

Коршун кивнул, сунул руку в карман и перестал тереть щепоть. Пепел остывал медленно, как уголь.

Шинок стоял за рядом, в подвале с одним окном, и пах кислым хлебом. Внутри было человек пять, и Левка Гущин сидел у стены, держал пустую кружку двумя руками.

Коршун подсел.

— Ты Нюркин отец? — спросил он.

Левка поднял голову. Глаза у него были светлые, мокрые и бегали: он смотрел не в лицо, а по лицу, как смотрят, когда ищут, где слабее.

— Двор? — спросил он.

— Двор.

— Я уж всё сказал. Я всё им сказал, пристава.

— Мне скажи.

Левка поставил кружку. Руки у него дрожали, и Коршун подумал, что дрожат они не от вина: человек, у которого выморозили ребёнка, не пьянеет, а только притворяется, что пьян, потому что так легче отвечать.

— Она живая? — спросил Левка.

— Живая.

— Кто её вытянул?

— Сейчас ты мне скажешь, — ответил Коршун. — Ты там был, когда её принесли?

— Был.

— Кто принёс?

— Ребята. Мальчишки. Сказали: лежит у мясных, не дышит тепло.

— Ты её видел?

— Видел.

— Что ты сделал?

— Ничего, — сказал Левка. — Я её до дому отнёс. А она... — Он махнул рукой. — Она уже была. Тёплая.

— Кто её вытянул?

— Травница, — сказал Левка. — Я не видел, я ушёл. Ребята видели.

— А до травницы кто был?

— Никто.

— Ты уверен?

Левка посмотрел на него, и Коршун увидел, что тот сейчас соврёт, и дал ему время соврать как следует, потому что ложь тоже была сведениями.

— Не уверен, — сказал Левка. — Я не видел.

— А кто видел?

— Никто не видел, — сказал Левка быстро. — Там никого не было. Все отошли.

— Все?

— Все.

Коршун кивнул. Он сидел и тер пепел в кармане, и пепел был тёплый — тёплый, как будто рядом кто-то стоял, хотя рядом сидел только Левка Гушин, пьяный отец, у которого выморозили дочь и который по какой-то причине сейчас врал про то, что никого не было.

— Левка, — сказал Коршун. — Ты мне вот что скажи. У тебя на рядах троих выморозило за две недели. Потом четвёртая — твоя. А ты мне говоришь, что никого не видел. Ты бы видел. Ты каждый день там.

— Я не видел, — сказал Левка.

— Почему?

Левка молчал. Кружка стояла на столе, пустая, и он её не брал, только держал рядом ладонь, как греет.

— Я скажу, — сказал Коршун, — потому что ты сам сейчас думаешь, говорить или нет, и тебе страшно оба раза. Тебе страшно, что я узнаю. И тебе страшнее, что я узнаю не от тебя.

Левка сглотнул.

— Мне сказали, — проговорил он.

— Кто.

— Не знаю.

— Как не знаешь.

— Голос. — Левка посмотрел на него наконец, прямо, и глаза у него были уже не мокрые, а сухие, и Коршун понял, что он действительно боится. — Я спал у лавки. Ночью. Подошёл человек, разбудил, сказал: как принесут девуку, не подходи, пока не кончится. Сказал: после третьего дня сама встанет.

— И ты не подошёл.

— Я не подошёл.

— А человек кто?

— Не знаю. В плаще. Лица не видел, темно было. Голос ровный, как у тебя.

— А если бы ты подошёл?

Левка помолчал.

— Сказал, — проговорил он, — что Нюрку не тронут, если я не подойду. А если подойду — что тронут и её, и вторую. У меня ж две.

Коршун кивнул. Он встал, бросил на стол две монеты, и монеты легли рядом с пустой кружкой, и Левка на них не посмотрел.

— Ты всё сказал, — сказал Коршун. — Это правильно.

— А её тронут? — спросил Левка.

Коршун уже шёл к двери и остановился, не оборачиваясь.

— Нет, — сказал он. — Тот, кто тронул твою девку, тронул её через тебя. Ему ты нужен был молчаливый. Молчи и дальше — и больше он к тебе не придёт.

— А если придёт?

— Тогда скажешь мне.

Он вышел. От фонаря на мостовую падало жёлтое пятно — единственное на весь ряд. Коршун достал бумагу с двумя щепотями, посмотрел на неё последний раз и понял, что хранить её не нужно: чистый пепел был у того, кто тянул, липкий — у того, кто отдавал, а между ними стоял человек в плаще, который пришёл ночью к пьяному отцу и знал, что девочку приносят.

Тот, кто тянет, и тот, кто предупреждает, — это один человек или двое. Коршун тринадцать лет считал, что один. Сейчас, на пустом ряду, под одним фонарём, он впервые допустил, что двое, и от этого допущения ему стало хуже, чем от любой одной версии: если их двое, то тот, кто отдаёт, — не помощник, а часть машины, и травница с протоки, которая положила руки на чужого ребёнка и вернула ему тепло, либо работает с ними, либо следующая.

Он пошёл на протоку.

Ржавая протока встретила его тем же запахом — железом, тиной и чаем. Лавка стояла на сваях, окно светилось. Коршун подошёл к крыльцу, положил руку на перила и почувствовал, как пепел в кармане нагрелся до горячего.

Он стоял так минуту, глядя на свет в окне, и думал: тринадцать лет, и вот оно, и сейчас он поднимется на крыльцо, постучит, и ему откроет женщина, которую он вынес из огня, — если, конечно, это она, если пепел не врёт, если железо на её запястье тринадцать лет делало своё дело.

Пепел не врал никогда.

Коршун постучал.

Глава 3. Условие, которое ей невыгодно

Тетрадь лежала на коленях, и Аглая писала в неё то, что помнила, пока помнила.

Марфа ушла на ряды за зольником и, уходя, два раза оглянулась. Аглая писала мелко, в две колонки: слева — имя, справа — чем она заплатила. Слева стояло: Нюрка, Гущина, Красный ряд, десять лет. Справа она писала долго, потому что искала, что именно ушло, и не находила.

Потом нашла. Ушло имя: первой хозяйки, до Марфы. Домна. Аглая вывела его в правой колонке и посмотрела, и имя оказалось чужим — правильным, но ничем не подкреплённым. Она помнила, что Домна была добрая, и не помнила, чем именно.

За окном прошёл человек и не остановился. Второй прошёл тоже. Третий встал у крыльца, и Аглая узнала его ещё до стука — по тому, как перестали гудеть половицы: он встал так, что пол под ним замолчал.

Стук был один, ровный.

— Открыто, — сказала она.

Он вошёл боком, плечом вперёд, как входят в низкую дверь. Проём не занял. Аглая видела его впервые и знала тринадцать лет: с того дня, когда он вынес её из огня. Хромота та же, левая нога. Рука в кармане. Смотрел не на неё, а по ней — как по полке.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе.

— Ты Аглая?

— Я.

— Марфа здесь?

— На рядах.

Он кивнул, как будто это было важно, подошёл к прилавку и положил монету.

— Мне от кашля, — сказал он. — И от бессонницы.

— От кашля есть, — сказала она. — От бессонницы нет. Я её не лечу.

— Жаль.

Он не улыбнулся. Стоял и смотрел ей в переносицу — так, как Марфа смотрит, когда говорит правду, — и Аглая поняла: он всё уже знает и спрашивает только для того, чтобы посмотреть, как она будет врать.

— Вчера днём ты ходила на Красный ряд.

— Ходила.

— Зачем?

— Девку смотрела. У неё выморозка.

— И что ты сделала?

— Травы дала. Полынь, мята, девясил. Велела греть.

— И она встала.

— Встала.

— Ты видела, как встала?

— Нет. Я ушла.

Он вынул правую руку из кармана и положил на прилавок щепоть пепла — серую, сухую, ровную.

— Это с руки мертвеца, — сказал он. — Третьего, у церкви. Видишь, какой?

— Чистый.

— Чистый, — подтвердил он. — А знаешь, отчего?

— Нет.

— Оттого, что человек брал много раз и научился брать ровно столько, сколько нужно. У первого раза пепел мутный. У десятого — чистый. Это не новичок, Аглая. Это тот, кто тянет давно и аккуратно, и ни разу не взял лишнего. Таких на учёте Двора шестеро, и все под печатью.

Он положил рядом вторую вещь — кусочек серой тряпки с липким налётом. Аглая узнала её по краю, по тому, как разошлись нити у угла.

— Это с лавки у мясных, — сказал он. — Там, где лежала девка. Ты хорошо стёрла ей ладонь. Но не до конца: ты стёрла руку, а не то, что осталось под рукой.

Аглая смотрела на тряпку.

— Липкий пепел, — сказал Коршун. — Пахнет полынью. Он бывает у одного: у того, кто отдаёт. У тянущего — сухой, как у меня на ладони. А тот, кто вернул девке тепло, оставляет липкий.

Она молчала, и молчание было единственным, что её не выдавало; он не торопил, и это ожидание оказалось хуже допроса.

— Покажи руки, — сказал он.

— Зачем?

— Покажи.

Она положила на прилавок правую ладонь — чистая, в трещинках от воды и трав, с белой полосой от ножа. Он посмотрел. Потом перевёл взгляд на её левую руку, которая не выходила из кармана.

— А другая?

— Другая занята.

— Я не трону, — сказал он. — Мне посмотреть.

— Аглая, — сказал он, когда она не двинулась. — Я не спрашиваю, тлеющая ли ты. Я знаю, что тлеющая. Я спрашиваю, какая.

Она глядела на него, и в голове шло: Домна, Домна, Домна — как будто имя могло её закрыть.

— Вот что я тебе скажу, — сказал он. — За две недели в городе четверо вымороженных. Трое — нищие, те, кого хватятся не сразу. Четвёртая — ребёнок с рынка, которую хватятся сразу и громко. Разницу видишь?

Она молчала.

— Первых трёх выбирали по удобству, — сказал он. — Четвёртую — по тому, что на неё придут смотреть. И пришли. Не я, я приехал позже. Пришла ты. Ты вышла на ребёнка, вытянула её и назвала себя. Не мне — мне ты была нужна и до этого. Ему.

Аглая подняла глаза.

— Зачем я ему?

— Я надеюсь, ты скажешь. Ты с ним работала?

— Я ни с кем не работала. Я девку вытянула. Всё.

— Ты её вытянула при пятерых.

— При пятерых.

— И знала, что они увидят.

— Я знала, что она не встанет, если я не вытяну. — Аглая сама услышала, как это вышло: не оправданием, а яростью. — Что мне было делать? Стоять?

— Нет, — сказал он. — Тебе было делать то, что ты сделала. Я не обвиняю. Я считаю.

— Что считаешь?

— Шаги. Первый: трое нищих, чтобы город привык. Второй: ребёнок, чтобы город закричал. Третий: он знал, что ты придёшь, потому что ты единственная в Зольнице, кто возвращает тепло. И четвёртый.

Он положил на прилавок вторую руку. Теперь обе лежали открыто, и это значило: он не достанет ничего.

— Левка Гушин, — сказал Коршун. — Ночью к нему приходил человек в плаще. Сказал: как принесут девку, не подходи, пока не кончится. Сказал: на третий день сама встанет. Она бы не встала на третий день, Аглая. Она бы не встала вообще. Этот человек знал, что ты придёшь, — раньше, чем ты сама.

Аглая села на краешек стула.

— Значит, он меня искал.

— Значит, он тебя нашёл, — сказал Коршун. — И теперь ты у меня на примете, и он это знает, и я это знаю, и ты это знаешь. Осталось понять, зачем.

Она сидела, глядя на свои руки: правая на тетради, левая в кармане, на железе. И тут сообразила, что он ни разу не потребовал снять браслет, не тянулся к ней, не угрожал, — и от этого ей стало хуже, чем если бы тянулся: торопить будет не он.

— Что ты хочешь?

Он собрал с прилавка монету, тряпку, пепел, убрал в карман и оставил между ними чистую доску.

— Два варианта, — сказал он. — Первый: я ставлю на тебя печать и веду в Двор. Ты под учётом, живёшь и работаешь, где скажут. Это законно, и это то, что я должен сделать.

— А второй?

— Второй: я не ставлю ничего, а ты идёшь со мной и помогаешь найти того, кто тянет.

— И что мне за это?

— Пять дней без печати. На шестой — как решит Двор.

— А если я не соглашусь?

— Тогда я сделаю то, что должен. Сегодня.

Она подняла голову.

— Ты мне угрожаешь?

— Нет, — сказал он. — Я говорю, что будет. Угроза — это когда выбираю я, чего хочу. А я не выбираю: у меня служба, и служба говорит, что тлеющий без печати — беда, которая ждёт часа. Я тринадцать лет видел, чем этот час кончается.

Аглая сидела и считала — так, как считала всю жизнь: сколько у неё есть и сколько она отдаст. Домну отдала. За девку отдала. За старика с Гончарной, за мальчика с ожогом, за Марфину сестру и ещё за двадцать, чьи имена стояли в тетради слева.

— Третий вариант, — сказала она.

— Я пойду с тобой, — сказала Аглая. — Но ты дашь слово: до конца розыска на меня не наденешь ничего — ни обруча, ни печати. И Марфу не тронешь. Она меня не выдала, потому что я просила, — значит, вина моя.

— Это второй вариант с условием, — сказал он.

— Это условие мне невыгодно, — сказала она. — Если я пойду с тобой, я тебе понадобится, а если понадобится, ты меня не отдашь. И платить придётся не печатью, а собой.

Он смотрел долго. Потом сказал:

— Верно.

— И?

— Я согласен.

Она ждала, что он добавит что-нибудь про Двор, про срок, про то, что его слово ничего не стоит. Он не добавил. Только вынул щепоть пепла, подержал на ладони и ссыпал обратно, и Аглая увидела, что пепел у него в руке не остывает: он тёплый всегда, и он чувствует её так же, как она чувствует вымороженного. Вся её одиннадцатилетняя осторожность держалась на железе, а железо не греется. Он — греется.

— Тогда покажи, — сказал он.

— Что?

— Запаястье. Пять дней без печати. Но я должен знать, что ты её не снимешь там, где я не увижу.

Она вынула левую руку из кармана и положила на прилавок. Рукав съехал. Браслет вышел наружу — узкий, тёмный, некрасивый, с застёжкой, которую она одиннадцать лет застёгивала на ощупь.

Коршун смотрел на браслет, а не на руку, и смотрел так, как смотрят на вещь, которую узнали.

— Одиннадцать лет, — сказала Аглая. — Не снимала. Кроме вчера.

— Я знаю, — сказал он. — Я нашёл след.

Он поднял глаза — впервые посмотрел ей в лицо, а не в переносицу, — и она увидела, что глаза у него светлые, светлее, чем она ждала, и что он сейчас делает то же, что она: считает, сколько стоит вопрос, который он собирается задать.

— Один вопрос, — сказал он. — Можешь не отвечать. Но если ответишь — правду.

Она ждала.

— Когда ты её вытягивала, ты почувствовала того, кто вытянул до тебя?

Аглая открыла рот и закрыла.

— Да.

— Что ты почувствовала?

— Что он не умеет, — сказала она. — Что он брал и не знал, куда девать. Что он испугался.

Коршун замер — ненадолго, но она успела увидеть: он не ожидал, что она ответит.

— Ты уверена?

— Я чувствую, когда берут, — сказала она. — И чувствую, кто брал. Он брал, как берут воду горстью: много, мимо, сам облился. Чистый пепел у него не от умения.

— А от чего?

— Оттого, что брал много раз и каждый раз одинаково. Умеющий берёт по-разному: у каждого своё тепло. А этот — как по списку.

Коршун молчал. С протоки донёлся скрип: шла баржа, и пол под ней гудел, и гул шёл вверх через сваи и половицы, и Аглая чувствовала его коленями.

— Вот, — сказал он наконец. — Вот зачем ты мне нужна.

Он встал, прошёл к двери, посмотрел на улицу и вернулся.

— Собирайся. Выходим сегодня.

— Куда?

— В Пепельный Выселок.

Она встала.

— Зачем?

— Затем, что если он берёт по списку, список где-то есть. А кто знает, тот или ведёт список, или его видел. В Выселке сто сорок человек под учётом. Один из них что-нибудь видел.

Он открыл дверь, и в щёлку вошёл холод, и Аглая впервые за одиннадцать лет поняла, что ей действительно холодно: не в лавке дело, а в том, что сейчас она выйдет из неё и пойдёт рядом с человеком, который чувствует её так же, как она чувствует вымороженного.

— Я возьму тетрадь.

— Бери.

— И травы.

— Бери.

Она пошла за прилавок, подняла тетрадь, сунула в короб — и рука задержалась на крышке: тетрадь была единственным, что у неё было вместо памяти, и она впервые за одиннадцать лет выносила её из дома.

— Аглая, — сказал он от двери.

Она обернулась.

— Ты сказала: он не умеет, он брал как по списку. Ты это по девке поняла?

— По девке.

— А по трём первым?

Она не ответила. Трёх первых она не видела — только девку. Он это знал, и она знала, что он знает, и молчала, потому что ответить значило признать: она почувствовала не того, кто брал, а то, что осталось.

Коршун кивнул, как будто она ответила.

— Слушай, — сказал он. — Тот, кто тянет, выбрал ребёнка не потому, что ребёнка легче тянуть. Ему нужно было, чтобы пришли смотреть. А чтобы пришли смотреть, нужно, чтобы кто-то пришёл лечить.

Он помолчал.

— Он выманивал не её, — сказал Коршун. — Он выманивал тебя. И ты вышла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.